

«ПОСЛЕДНИЙ НАРОД В ЕВРОПЕ»

Сенсационная поездка мадам Жоффрен в Варшаву в 1766 году и последовавший сразу же за ней затяжной кризис, закончившийся разделом Польши в 1772-м, привлекли беспрецедентное внимание иностранцев к этой стране и ее месту в Восточной Европе. В 1765 году статья Жакура о Польше, помещенная в Энциклопедии, зафиксировала общепринятый минимум основных сведений и критических суждений, после 1766 года последовал настоящий взрыв интереса к Польше и изобилие писаний о ней, среди которых «Соображения» Руссо были лишь одним эпизодом, хотя и наиболее значительным с точки зрения мировой интеллектуальной истории. Накал интереса к Польше в эти годы был сравним с интересом к Венгрии в течение первых десяти лет XVIII века, и сходство это стало еще более очевидным после восстания Барской конфедерации против России в 1768 году. Война, которую конфедераты вели против Екатерины, поляризовала общественное мнение в Европе, особенно во Франции, подобно тому как это было с восстанием Ракоши против Габсбургов в 1703 году. Манифест Ракоши был незамедлительно переведен на французский и обнародован в Париже, и манифест Барской конфедерации был в 1770 году издан там же, чтобы оправдать Польшу в глазах иностранного общественного мнения. Наконец, интерес к Венгрии, порожденный восстанием Ракоши, привел к тому, что страну эту нанесли на карту Европы, откуда Габсбурги уже не могли ее стереть; сходным образом сенсационное внимание к Польше в годы, предшествовавшие первому разделу, произвели глубочайшее воздействие, придавшее некое постоянство обычной географической нестабильности. Руссо в Соображениях уже мог представить, что Польша перестанет существовать как государство, и предусмотрел, что, несмотря на эту катастрофу, она обретет непреходящее место на карте в рамках заново переосмысленной картографии. Барскую конфедерацию он приветствовал настойчивым предписанием: Необходимо начертать эту великую эпоху во всех польских сердцах. Тем не менее, хотя Руссо и делал вид, что занимается искусством гравировки на польских сердцах, его Соображения были наиболее привлекательны именно для западноевропейских читателей, с их сознанием, воспоминаниями и картографическими образами.

Энтузиазм, с которым Руссо поддержал Барскую конфедерацию, был лишь реакцией на презрение Вольтера, логически его дополняя; презрение это, в свою очередь, было побочным продуктом вольтеровской преданности Екатерине. Идеологические соперники среди философов Просвещения могли обращаться к Польше или России, выбирая один из двух взаимоисключающих образов Восточной Европы. В действительности же интерес Вольтера к Польше был так же стар (хотя и не так силен), как его интерес к России, и в Карле XII просвещенная публика заочно знакомилась с двумя действующими лицами, Станиславом Лещинским и Станиславом Понятовским, отцом Станислава Августа. Позже Лещинский принимал Вольтера при своем дворе в Лотарингии, оказывал ему покровительство и даже еще раз стал литературным персонажем, появившись в «Кандиде» среди шести изгнанных королей:

«Провидение даровало мне еще одно королевство, где мне удалось сделать больше добра, чем все короли Сарматии смогли когда-либо сделать на берегах Вислы». В 1761 году Вольтер обозначил точки отсчета для измерения польской отсталости в письме французскому дипломатическому представителю в Варшаве, Пьеру Эннину: «Я по-прежнему даю полякам пятьсот лет, чтобы научиться делать японские качи и еврейский фартюр». Эннин надеялся переориентировать Вольтера на сторону Польши, отсюда видно, что к этому времени отношение к Польше уже стало для философов Просвещения признаком партийной принадлежности. Идея измерять уровень относительной развитости в столетиях обязана своим рождением работе маркиза д'Аржансона Соображения о древнем и нынешнем образе правления во Франции. Эта книга вышла в 1764 году, но Вольтер читал рукопись еще в 1739-м. Именно к д'Аржансону обращался Вольтер, когда объявил Польшу, с ее «жалкой конституцией, прекрасным предметом для разглагольствований». Именно в таком положении она оказалась после 1766 года, предоставляя просвещенным авторам предмет для разглагольствований.

Это отличия понимала Екатерина, когда она выбрала поводом для русского вмешательства во внутренние дела Польши проблему религиозной терпимости и переправила Вольтеру разнообразные материалы на эту тему, подготовленные в Санкт-Петербурге. На всем протяжении 1760-х годов Вольтер боролся с позором католической нетерпимости во Франции, проявившейся в делах Каласа, Сирвена и Ле Барра. Вопрос об участии некатолических диссидентов в Польше был очень близок ему и очень удобен для Екатерины, и в 1767 году он сочинил Опыт исторический и критический о несогласиях церквей в Польше, вышедший под именем Жозефа Бурдильона, вымышленного профессора-всезнайки. Это произведение, направленное против католичества в Польше, было естественным наследником периодических изданий и памфлетов, выходивших в XVIII веке в протестантской Англии (а также в Пруссии), в которых выражалось возмущение польскими бесчинствами, начиная с волнений и экзекуций в Торуню в 1724 году. В сочинении Вольтера польская проблема толковалась расширительно, распространяясь и на соседние земли и очерчивая, таким образом, область екатерининских имперских устремлений: «Она не только устанавливает терпимость дома, но и стремится возродить ее среди ее соседей». Исправляя окончание после раздела 1772 года, Вольтер заключил: «Так был рассеян польский хаос». Эта фраза повторяла общее отношение Вольтера к Восточной Европе, выразившееся в его призыве к Екатерине рассеять хаос от Гданьска до Дуная.

Вольтеру недостаточно было рассказывать о Польше; он хотел, воспользовавшись возможностью, обратиться напрямую к самим полякам. В 1767 году, когда Бурдильон уже высказал свои соображения по польскому вопросу, Вольтер написал Станиславу Августу, призывая короля к политике просвещенного абсолютизма: «Ваше Величество, этот Бурдильон воображает, что Польша была бы намного богаче, более населенной и счастливой, если бы ее крепостные были освобождены, если бы их тела и души обрели свободу, если бы остатки готическо-славянско-римско-сарматского образа правления были однажды упразднены государем, который бы принял звание не первенствующего сына церкви, но первенствующего сына Разума».

Совершенная смехотворность «готическо-славянско-римско-сарматского образа правления» делала реформы тем более уместными в Польше, а эпистолярная форма, письмо в Восточную Европу, обозначала вектор просвещенного влияния. В 1768 году Вольтер изложил свой призыв к польской нации в «Обращении к католическим конфедератам в Каменце, в Польше», приписанном прусскому офицеру по имени Кайзерлинг. «Отважные поляки, — обращался он к ним в тех же выражениях, что и Руссо несколько лет спустя, — желали бы вы сейчас быть рабами и вассалами теологического Рима?» Поляки осмелились жаловаться, что Екатерина ввела русские войска в Польшу, и еще спрашивают, есть ли у нее на это право: «Я отвечаю вам, что это то право, по которому сосед тащит воду в горящий дом соседа». Русскую армию послали установить в Польше терпимость. Вольтер напоминал полякам, что Екатерина приобрела библиотеку Дидро, и заключал презрительно: «Друзья мои, научитесь читать для начала, и тогда и вам кто-нибудь купит библиотеки». Как и более дружеское обращение Руссо к отважным полякам, слова Вольтера предназначались его читателям в Западной Европе, которые, таким образом, могли воочию наблюдать, как философия несет полякам истину. Иллюзорность его мнимой аудитории была тем более очевидна в «Проповеди попа Николая Любомирского, говоренной в церкви Свято-Терпимской, в деревне литвянской», написанной Вольтером в 1771 году. То, что проповедь эта предназначалась парижской публике, а не литовским крестьянам, очевидно уже потому, что она была ответом на манифест Барской конфедерации, опубликованный в Париже в предыдущем году. «Я имею честь послать Вашему Императорскому Величеству перевод литовской проповеди, — писал Вольтер Екатерине. — Это скромный ответ на грубые и смехотворные вымыслы, которые польские конфедераты напечатали в Париже». Вольтер, таким образом, был полностью вовлечен в екатерининский поход на Польшу, и настолько, что в 1769 году Станислав Август подумывал об открытии дипломатического фронта в Ферне и отправил агента, чтобы, заручившись посредничеством Вольтера, добиться от Екатерины мирных переговоров. Вольтер отказался ему помочь — то ли он был слишком увлечен екатерининскими войнами и завоеваниями, то ли как философ и сам хорошо понимал, что не может влиять на действия Екатерины в Польше, а может лишь оправдывать и воспевать их.

То, что вольтеровская проповедь 1771 года была обращена к западноевропейской аудитории, видно и из пародийных славянских имен «Любомирский» и «Свято-Терпимский» (*Chariteskivi Saint Toleranski*), превращавших польский кризис в восточноевропейскую комедию. Вольтер обращался с польской ситуацией как с литературным развлечением, а как раз в то же время молодой Марат писал «Приключения юного графа Потовского», роман в письмах, где использовал современную ему Польшу и войну Барской конфедерации как фон для романтической истории. Всеобщность интеллектуального увлечения Польшей с 1770 по 1772 год была поразительной поощряемые Вильегорским. Мабли и Руссо писали свои трактаты, Вольтер в Ферне обращался к полякам с сатирическими памфлетами, а Марат, работавший ветеринаром в Англии, в Ньюкасле, сочинял там свой роман. Если в «Польских письмах» Марат предлагал взглянуть на Западную Европу глазами поляка, то в «Приключениях» он живописал ощущения поляков, оказавшихся в гуще польского политического кризиса, который мешал воссоединиться двум юным влюбленным. Он использовал польские и псевдопольские фамилии — Потовский, Пулавский, Огиский, Собеский, — носители которых рассуждали о польских делах, причем одни восторженно поддерживали Барскую конфедерацию, а другие ее презрительно осуждали, что отражало различие мнений по этому вопросу и в Западной Европе, и в самой Польше.

Главный герой, которого ужасали зверства гражданской войны и иностранных вторжений, в конце концов осудил конфедератов, называя их кучкой варваров. Однако окончательное суждение о состоянии дел в собственной стране сложилось у него после беседы с французом. Марат скромно называет поляка по (я), а француз — ни (он).

Мoi. Ты кажешься мне человеком знающим, мне будет приятно услышать, что ты думаешь о состоянии дел в несчастной Польше.

Lui. Вы пропали, и, быть может, пропали совершенно, но что за несчастья ни обрушились бы на вас, вы их, несомненно, заслужили.

Moi. Объяснись, пожалуйста, ибо я не понимаю тебя.

Lui. В состоянии анархии, в котором вы живете, как одни из вас могут не стать жертвами других или добычей ваших соседей. Ваш образ правления есть наихудший из всех существующих.

Этот вымышленный диалог между поляком и французом с его суровым приговором приводился в вымышленном же письме от одного поляка к другому, само оно, в свою очередь, было частью романа в письмах, написанного о Польше французом, проживающим в Англии. Таким образом, само расположение литературного материала в конечном итоге утверждало главенство Западной Европы. Если польские сочинения Марата оставались неопубликованными до 1847 года, то Жан-Батист Лувэ дю Кувре написал и издал в 1780-х годах «Любовные похождения шевалье де Фоблаза», где польский сюжет отсылал читателей в прошлое, ко временам Конфедерации. Французская публика настолько заинтересовалась романтической историей Лозвинского и Лодойской, что де Кувре переработал ее в драматическую комедию, «Лодойская и татары»; комедия эта, а также основанная на ней опера Керубини были поставлены в 1791 году в революционном Париже.

Вольтер использовал историю Станислава Августа и барских конфедератов в своей трагедии Законы Миноса; хотя она и была написана примерно во время первого раздела, действие в ней происходило на древнем Крите. Просвещенный царь жаловался Фанатизм и мятежи Вечно беспокоят мою несчастную страну. Эта пьеса так и не увидела сцены; еще меньше внимания привлекло сатирическое стихотворение о Польше Война конфедератов, которое Фридрих Великий написал в 1771 году, чтобы развлечь Вольтера. Руссо, Марат и Фридрих писали почти одновременно, но если Руссо симпатизировал полякам, а Марат колебался, то Фридрих был полон злобного презрения. В качестве наиболее уместной в данном случае музыки у него выступает богиня глупости:

Она с удовольствием увидела Польшу,
Не изменившуюся с начала времен,
Грубую, глупую и необразованную,
Староста, еврей, крепостной, пьяный воевода,
Вот овощи, которые не знают стыда.

Фридрих не только рифмовал *Pologne* (Польша) с *ivrogne* (пьяный) и *vergogne* (стыд), но и составил традиционную восточноевропейскую комедию из множества слабоумных, чье имя оканчивается на «-ский». Однако и эта комичность, и презрение, капающие с ядовитого пера, обнажали подспудную связь между поэзией и властью, типичную для всех произведений, посвященных польскому кризису, как он виделся Западной Европе. Фридрих как раз задумывал свой план расчленения Польши, и Вольтер оценил сходство между этим стихотворением и разделом 1772 года: «Ваши деяния почти сравнялись с Вашим стихотворением о конфедератах. Приятно уничтожить народ и сложить о нем песню». Вольтер видел взаимосвязь между двумя талантами и льстил Фридриху: Никто никогда не сочинял стихов и не завоевывал королевств с такой легкостью. Более того, Вольтер и сам раздел считал плодом гениального воображения, подобным поэме: «Предполагается, что именно вы, Ваше Величество, придумали расчленив Польшу, и я этому верю; в этом есть нечто гениальное». Что до самого Фридриха, то он начал злополучный 1772 год письмом Вольтеру, где приветствовал поляков как последний народ в Европе. Именно эта иерархия народов, которых, несмотря на все унижения и вторжения, все же считали европейцами, определяла для Фридриха его поэтическое и политическое восприятие Восточной Европы.

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ»

Такое ранжирование различных народов указывало одновременно и на возможность развития, и сторонники одного из важнейших экономических течений в XVIII веке. Физиократы, проявляли особенный интерес к Польше именно в годы ее политического кризиса. Уже в наше время, после 1989 года, агонизирующая польская экономика стала лабораторным образцом для проверки действенности рыночного капитализма, а иностранные экономисты слетались в Варшаву со своими лекциями и рецептами. Точно так же, за два века до того, физиократы с их протокапиталистическими взглядами ухватились за возможность использовать польский кризис, чтобы экспортировать свои экономические теории и использовать эту страну для постановки научных экспериментов. Основателем этой доктрины был Франсуа Кенэ, написавший в 1758 году «Tableau économique», где доказывался приоритет сельского хозяйства перед коммерцией, преимущества свободной торговли, основанной на принципе *laissez-faire*, и полезность единого налога на землю. Рассматривая Восточную Европу в свете этих идей, физиократы надеялись распространить влияние своих экономических доктрин на Польшу и Россию. Именно своей написанной в физиократическом духе диссертации под названием Естественный и основной порядок благоустроенных обществ Лемерсье был обязан приглашением в Санкт-Петербург в 1767 году. В том же году Мирабо-старший, отец известного революционера, придал физиократическому течению организационную форму, устраивая у себя дома ужины по вторникам, к концу года он уже мог похвалиться в письме Руссо, что его салон отправил Лемерсье в Россию с несколькими помощниками, которых мы ему придали, чтобы насадить там экономическое законодательство. Их ожидали разочарования, но, очевидно, высокомерное поведение Лемерсье объясняется не только особенностями его характера; он был представителем целого научного направления, которое видело Восточную Европу в таком же свете.

Польский проект физиократов также зародился в парижском салоне Мирабо, когда в 1767 году там появился Игнаций Массальский, епископ Виленский; этот светский церковник и хронический картежник, увлекавшийся к тому же экономикой, приехал во Францию, дабы переждать опасную для себя политическую ситуацию в Польше. У него были прекрасные связи за границей, и в 1771 году мадам Жоффрен устроила обучение его племянника и племянницы во Франции, а в 1779-м Мирабо помог дебаты в ту же тему провести за сном отцом де Ланси. В 1767 году Массальский был готов поддержать приезд физиократов в Польшу, и подходящий кандидат был найден в лице аббата Николая Бадё, которому обещали церковную должность в Литве. Подобно Лемерсье, он написал в 1767 году сочинение в физиократическом духе; трактат под названием Начальное введение в экономическую философию отразил его критический интерес к проблемам деспотизма и рабства в России и Польше. Для Бадё вопросы экономики явно были неотделимы от общего взгляда на цивилизацию в Восточной Европе: «Что может быть абсурднее и прозрачнее, чем идея цивилизовать целую империю, оставив всех работников прикрепленными к земле?» Современное общественное мнение рассматривало его поездку в Польшу как физиократическое дополнение к путешествию Лемерсье в Россию. Издаваемый Бадё журнал, *Ephemerides*, сообщая в 1768 году о его отъезде, объявил, что «его ждет в Польше карьера, достойная его любви к человечеству». В Польше, однако, его ожидали с некоторым беспокойством, опасаясь, что, привыкший к удовольствиям и удобствам Парижа, он, быть может, сочтет немного странной жизнь в Польше, и тем более в Литве.

Вполне естественно, что Бадё интересовался в Польше прежде всего производством зерна, и его экономическая программа сводилась по большей части к тому, как устроить вывоз польского зерна во Францию. Более того, оценивая в своем донесении в *Ephemerides* сельскохозяйственное благосостояние Польши, он подсчитал, что зерна, напрасно потраченного на изготовление плохого пива и водки, хватало бы, чтобы питать французское королевство на протяжении трех лет. Очевидно, его физиократический интерес к сельскому хозяйству в Польше нес на себе оттенок колониальной расчетливости: если Польша соответствует теоретическому идеалу преимущественно аграрной экономики, это не только достойно восхищения само по себе, но и очень выгодно для Франции. В Литву Бадё, однако, прибыл в самый разгар военных действий, чьи ужасы Марат, оставаясь в Ньюкасле, мог только воображать; этого было вполне достаточно, чтобы помешать построению сельскохозяйственной утопии. Проведя в Литве одну зиму, Бадё отправился в Санкт-Петербург, откуда Лемерсье только что настоятельно предложили уехать. Благодаря некоторому содействию Фальконе, Бадё удалось преподнести Екатерине поэму; она, однако, отмахнулась от несчастного аббатика, и в 1769 году его выслали из России за то, что он публично осуждал намерения Фридриха II в отношении Польши. К концу лета он был уже дома во Франции, продержавшись в Восточной Европе меньше года.

Этого, однако, было вполне достаточно, чтобы Бадё приобрел репутацию знатока Польши и начал работу над «Письмами о действительном положении дел в Польше и происхождении ее несчастий», которые печатались частями в «Ephemerides» в 1770—1771 годах. Оказалось, что в Польше «нет не только искусств, но и торговли, и даже сельского хозяйства, достойного этого названия, поскольку слишком много земли там лежит под паром». Кроме того, в те же самые годы Бадё опубликовал «Экономические советы просвещенным гражданам польской республики касательно сбора податей». Это сочинение написано в жанре эпистолярного обращения, убеждавшего поляков, что они готовы к восприятию физиократических теорий. Он уверял, что прямое обложение валового сельскохозяйственного продукта подходит им больше, чем любому другому народу, обосновывая тем самым претензии физиократов на управление польскими землями.

Не только Бадё, вернувшийся из Польши, писал как эксперт по польским делам; Лемерсье, вернувшийся из России, тоже нашел что сказать о Речи Посполитой. Одновременно с Бадё он работал над сочинением «Общая польза поляков, или Замечания о средствах умиротворить навсегда настоящие волнения в Польше, совершенствуя ее правление и примиряя ее подлинные интересы с подлинными интересами других народов». Обращался он тоже прямо к полякам, подобно Руссо, в

тоне политического одобрения, который, возможно, подогревало его недавнее изгнание из России. «Благородные поляки, основания вашего правительства достойны восхищения, — объявлял он; вам нужно лишь сделать несколько шагов, дабы довести его до совершенства». Его предложения лежали в экономической плоскости, содержали дружелюбные отсылки к «Экономическим советам» самого Бадё и включали установление закона собственности и вольной торговли. Даже Руссо, интересовавшийся в основном политическими и культурными проблемами, не смог удержаться в своих Соображениях от экономических рассуждений; он тоже настаивал на приоритете сельского хозяйства, отдаленно напоминая физиократов тем энтузиазмом, с которым стремился ограничить польскую экономику аграрным сектором. В духе утопической фантазии он расписывал пагубность финансов и даже денег, замечая с неподражаемой снисходительностью: «Возделывайте как следует свои поля и не беспокойтесь об остальном».

Словом, около 1770 года во Франции тратили немало интеллектуальной энергии на решение польской проблемы, и всеобщее внимание к данному предмету было, пожалуй, важнее, чем имевшиеся политические или академические расхождения. Мабли поддерживал более радикальные реформы в Польше, чем Руссо, предлагая отменить шляхетское право вето, конфедерации и выборность короля. По сравнению с Руссо и Мабли, Бадё и Лемерсье уделяли больше внимания экономическим проблемам. Однако точки зрения, которых придерживались различные французы, объединяло то, что они посвящали Польше и ее проблемам всю свою интеллектуальную энергию, неохотно стремясь писать об этой стране и обращаться к ее жителям. По мере циркуляции и последующей публикации рукописей в 1770—1780-х годах становилось очевидным, что на самом деле они обращены к просвещенной публике в Западной Европе и идеологическим контекстом для них служит французское Просвещение. Польша лишь предоставляла интеллектуальный повод (для Бадё, на мгновение, призрак достойной карьеры), который был даже более многообещающим, чем Россия, поскольку казался более доступным. Сделать свою карьеру в России, или сделать Россию своей карьерой, можно было лишь при личной встрече или в личной переписке с Екатериной, тогда как к полякам — «отважным полякам, благородным полякам» — можно было обращаться с самыми общими советами на любую тему.

Планы преобразования Польши в физиократическом духе не остановились немедленно вслед за разделом. Новый русский посол в Варшаве после 1772 года, Отто Магнус Штакельберг, стал самым могущественным человеком в Польше, помыкая Станиславом Августом и унижая его; король сравнивал посла с римскими проконсулами. Кроме всего прочего, Штакельберг был убежденным физиократом — именно он в 1767 году первым порекомендовал Екатерине злополучного Лемерсье. В 1773 году он сообщал в Санкт-Петербург о своих планах преобразований в Польше, включавших введение свободной торговли, гарантий частной собственности и учреждение единого поземельного налога, следуя системе экономистов. Таким образом, всемогущий екатерининский посол относился к идеям физиократов с энтузиазмом, Станислав Август — с симпатией, а главой вновь созданной Комиссии народного просвещения, возможно первого Министерства просвещения в Европе, был не кто иной, как сам Массальский, виленский епископ-физиократ. Реформа образования была, конечно, главнейшей заповедью Соображений Руссо, тем не менее Массальский не очень его жаловал и пригласил Бадё вернуться в Польшу, чтобы принять участие в работе этой комиссии. Однако тот, наведя кое-какие справки через мадам Жоффрен, решил, что ему уже хватило польских приключений, и отказался. Место досталось другому физиократу, Пьеру-Самюэлю Дюпону де Немюру, вместе с Бадё выпускавшему «Ephemerides». Кроме того, польский князь Адам Чарторыйский предложил Дюпону стать частным наставником своих детей.

У Дюпона были неограниченные обязательства при баденском дворе, но маркграф Карл-Фридрих, симпатизировавший физиократам, написал Мирабо, что Дюпон, конечно, должен отправиться в Польшу, не упуская возможности принести безграничное благо целой нации. Сам Дюпон воспринимал роль физиократической доктрины с не меньшей самонадеянностью: это видно из его прощального обращения в салоне Мирабо весной 1774 года. Он объявлял своим коллегам-физиократам, что «их учения были изобретены востановить в Польше, а значит, там предполагалось слазить нашим советам, желая быть так или иначе причастными к этой академии». Безличная потребность в совете, безличное желание причастности приписывалось самой Польше; именно эта ссылка на безличные желания и стремления позволяла философам Просвещения утверждать собственную значимость. «Моему воображению видится, — разглагольствовал Дюпон, — высокая честь создания нации посредством народного образования». Эту же самую формулу создания нации французские интеллектуалы, начиная с фонтенелевского панегирика, использовали и применительно к петровским реформам в России; теперь им самим предстояла такая же созидательная деятельность в Польше. «Мои друзья, мои дорогие друзья, уроните несколько слез, когда я уеду!» — восклицал Дюпон, обращаясь к сентиментальным физиократам и обещая «поддерживать честь вашего ученика, а если надо — даже погибнуть в Польше». Кому-то придется отвезти домой его прах — «тело, изношенное после двенадцатилетнего служения». Когда он уезжал, его представления о том, что ожидает его в этой стране, стали еще более драматичными. «Я отправляюсь в Польшу, дабы плавать в пустоте, почти как Сатана в описании Мильтона, изнемогая в этом пространстве в усилиях сколь обширных, столь и бесплодных. Я отправляюсь в край интриг, зависти, тайных сговоров, тиранов, рабов, гордости, непостоянства, слабости и сумасшествия».

Польша представляла собой преисподней, населенной всевозможнейшими демонами, то есть поляками, которые сами и были главным препятствием его титаническим усилиям создать нацию. «Знаменитый и долгожданный г-н Дюпон прибыл наконец с женой и детьми», — цинично сообщал в декабре из Варшавы один бывший иезуит. Формально Дюпон занимал в комиссии должность секретаря для иностранной переписки, для начала он отменил планы своего патрона Массальского по созданию приходских школ. Самоуверенность его объяснялась тем, что он прибыл в Восточную Европу из Европы Западной, твердо веря в ее интеллектуальное преимущество. Это очевидно, если познакомиться, скажем, с его планами создания польской академии. На его взгляд, она должна поддерживать переводы на польский язык, справляясь предварительно у западных ученых, какие книги этого достойны. Академия наук в Париже будет рекомендовать классические работы по математике; Королевское общество в Лондоне будет оценивать сочинения по химии, электричеству и физике. Экономическое общество в Берне займется аграрными науками. Наконец, физиократический кружок Мирабо в Париже будет отвечать за мораль, социальную экономию, политику, гражданские законы и прочее. Англия, Швейцария и Франция входили, таким образом, в созвездие высшей, западноевропейской, цивилизации; Польша должна была светиться их отраженным светом, а Париж физиократов был самой яркой звездой. Затем Дюпон составил учебный план для польских студентов, наивысшей точкой которого было изучение работ Кенэ и Мирабо. Циничный бывший иезуит приписал этот план воспламененному сознанию и заметил, что ни один преподаватель здесь не взялся ему следовать.

В Польше, как и в других местах, подобные планы было легче составить, чем осуществить, и к октябрю Дюпон был глубоко разочарован, сообщая в Баден: «Нас обманули». Затем он предположил, что Бадё преувеличил ожидавшие его в Польше возможности, «дабы отправить меня на должность, которой он не желал для себя». Польские школы, метафори-

чески объяснял Дюпон, это воздушные замки. Обвинял он, конечно, во всем поляков, выражая свои претензии в терминах цивилизации и дикости: «Жители Польши все еще крепостные рабы и дикари, и что за усилия потребуются, чтобы вывести их из крепостного состояния, которое неизбежно и ведет к дикости. Я составил несколько записок по этой проблеме, которым аплодируют сегодня, о которых забудут завтра, с которыми будут справляться и которые, быть может, приведут в исполнение через сотню лет».

Отсталость измерялась столетиями, и век — вполне преодолимое препятствие по сравнению с пятью столетиями, которые, по мнению Вольтера, понадобятся полякам, чтобы научиться изготавливать северский фарфор

Год 1774-й был не только годом больших надежд для физиократов в Польше, но и годом больших возможностей в самой Франции. С восшествием на престол молодого Людовика XVI правительство возглавил убежденный физиократ Анн-Робер Тюрго. Его указ, объявлявший о разрешении свободной торговли зерном, был опубликован с предисловием, написанным самим Дюпоном. Уже готовясь к отъезду, он получил предложение занять должность губернатора на французском острове Маврикий, в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара, но предпочел отправиться в Польшу. Однако стоило ему добраться до Варшавы, как Людовик XVI приказал вернуться во Францию, чтобы работать в правительстве Тюрго. Дюпон послушался, причем довольно охотно. Его изношенное тело возвращалось домой, пробыв в Польше не двенадцать лет, как ожидалось, а лишь три месяца. Проезжая через Германию, он написал с дороги уже престарелому, восьмидесятилетнему Кенэ, доживавшему последний год своей жизни, изображая польский эксперимент как попытку, а ожидаемое возвращение домой — как радость. Особенно утомительно было обучать четырнадцатилетнего Чарторыйского-сына — хотя в будущем маленький князь станет одним из самых влиятельных польских политических деятелей XIX века. Помимо всего прочего, Дюпон выражал в письме к Кенэ свое удовольствие, что возвращается в «первую страну Европы», то есть во Францию: «Ибо, дорогой Учитель, я убедился собственными глазами, что даже в несчастиях, наполняющих нас желчью, французы есть и были первая нация нашего континента». Наблюдения, сделанные Дюпоном в Польше, убедили его в превосходстве Франции, подобно тому как возвратившаяся из Варшавы мадам Жоффрен говорила, что счастлива быть французенкой. Если Фридрих презирал поляков, «последний народ в Европе», то Дюпон был убежден в первенстве французов; таким образом, отношение западноевропейских философов к Польше легло в основу иерархии народов, различных моделей развития и шкалы относительной отсталости.

В 1776 году Адам Смит опубликовал в Лондоне свое «Богатство народов». Он восхищался физиократами и вслед за ними выступал за свободу торговли; однако его экономическая теория сделала учение физиократов, с его упором на сельское хозяйство, безнадежно устаревшим. В «Богатстве народов» он мельком бросает замечание, из которого видно, как он представляет себе экономическую иерархию европейских народов: «Польша, где по-прежнему сохраняется феодальная система, сегодня такая же нищая, какой она была до открытия Америки». Цена зерна, впрочем, выросла в денежном выражении, истинная же стоимость драгоценных металлов в Польше упала, так же как и в остальных странах Европы.

Для Смита Польша была «нищей и отсталой страной, но тамошние цены на зерно и стоимость драгоценных металлов доказывали, что она все же оставалась частью Европы». Когда Смиту понадобилось описать состояние мексиканской и перуанской экономики до открытия Америки, он записал, читатель, что «в искусствах, в сельском хозяйстве и в торговле их жители были куда невежественнее, чем украинские татары в настоящее время». Таким образом, «украинские татары» стали у него символом крайней степени отсталости в Европе. Смит полагал себя достаточно компетентным, чтобы рассуждать о невежестве «украинских татар», но писавший идею не о украински казак или крымских татарах? Именно эта несобственность в отношении этнических категорий, это смешение соседних стран и народов показывают, как непреодолимо распространялись в XVIII веке новые представления о Восточной Европе.

«ПОЛЬСКАЯ АНАРХИЯ»

У Адама Смита Польша удостоилась лишь случайного упоминания, тогда как Руссо, Мабли, Баде, Лемерсье и Марат посвящали ей целые рукописи; тем не менее для них всех Польша была лишь одним из многих предметов, интересовавших их на протяжении творческой карьеры. Однако среди французов, писавших в эти годы о Польше, был один, который посвятил ей всю свою карьеру, большую часть энергии и усилий; это был Клод-Карломан де Рюльер, автор Истории польской анархии. Рюльер начал свои исследования в 1768 году, работая в Министерстве иностранных дел под началом Шуазеля, который в общем симпатизировал Барской конфедерации. После 1770 года Рюльер, подобно многим другим, поддерживал тесные отношения с находящимся в Париже Вильегорским, охотно поставлявшим ему сведения по новейшей польской истории. Работу над первым черновым вариантом своей рукописи он закончил в 1770—1771 годах как раз тогда, когда писали свои труды Мабли и Руссо, с которыми он поддерживал постоянный обмен мнениями. Тем не менее остальные авторы использовали эту тему лишь как повод выразить свои общие экономические и политические воззрения, а Рюльер стал профессиональным историком Польши. Не его одного польский кризис подтолкнул к историческим размышлениям: Казанова, еще не обнаруживший, что его истинное призвание — эротические воспоминания, написал по-итальянски объемистую «Историю волнений в Польше», изданную анонимно в Германии в 1774 году. Рюльер работал над еще одним, более пространством трудом, который остался незавершенным и был опубликован лишь в начале XIX века. Даже тогда его появление вызвало ожесточенные споры; тем не менее значительную часть столетия он считался лучшей европейской работой по польской истории, и в 1862 году вышло его новое, каноническое издание.

Рюльер начал свою карьеру специалиста по Восточной Европе ровно за год до этой даты, но не в Польше, а в России, где он присутствовал при екатерининском перевороте 1762 года, находясь в составе французского посольства. Пять лет спустя в Париже он начал читать в салонах отрывки из своей рукописи Анекдоты русской революции, начинавшейся следующими словами: «Я был на месте события и стал очевидцем революции, сбросившей внука Петра Великого с всероссийского престола и возведшего на него чужестранку. Я видел эту принцессу в тот самый день, когда она бежала из дворца, заставив своего супруга отдать ей в руки и свою жизнь, и свою империю».

Откровенность этого описания была неприятна Екатерине, пытавшейся через Дидро и Гримма выкупить рукопись и предотвратить ее публикацию. Те прибегли к посредничеству мадам Жоффрен, которая оскорбила Рюльера, предложив ему большую взятку. Ей и самой не очень нравилось его откровенное описание прошлой близости между Екатериной и Станиславом Августом. Мадам Жоффрен могла составить собственное мнение по этому поводу, поскольку она приглашала Рюльера читать у нее в салоне после того, как он выступил в салоне ее соперницы, мадам дю Деффан. Даже сами Дидро и Гримм, считавшие этот труд сплетением лжи, присутствовали на этих чтениях. Талейран вспоминает в своих мемуарах, что «сочинение Рюльера стало одним из излюбленных салонных текстов (вместе с «Женитьбой Фигаро» Бомарше), которые гостям приходилось слушать за каждым ужином». В 1776 году, находясь в дипломатической поездке, Рюльер устраивал чтения в Вене и Берлине. Он, однако, обещал не публиковать сочинение при жизни Екатерины, и хотя императрица была несколько старше, ей удалось пережить Рюльера. Она умерла в 1796 году, и немедленно, уже в 1797 году, книга вышла по-французски, а также в английском, немецком и голландском переводах.

Сам Рюльер полагал, что Екатерина не должна была обижаться на его книгу, и в безуспешной попытке снискать ее расположение даже сочинил льстивую оду, восславляя в стандартных формулах превращение пустынь в плодородные провинции и подчиняя древних скифов ее законам. Согласно Рюльеру, он описал восшествие Екатерины на престол, чтобы ввести в рассказ об этом ужасном событии все обстоятельства, иногда смешные, относящиеся к обычаям русского народа, описывая распущенность русских обычаев, ему приходилось поминать столь уморительные анекдоты, что они делали серьезность смехотворной, тем самым придавая сочинению салонную привлекательность комедии нравов. «Русский народ ленив, весел, распутен, — писал Рюльер, — и хотя мягкость последнего царствования придала некоторую утонченность умам и некоторую пристойность манерам, немного времени прошло с тех пор, как этот варварский двор празднеством отмечал бракосочетание шута с козой». Он мог многоословно писать о России, поскольку его век уже накопил набор формул для обращения с данным предметом, создавая иллюзию, что познать Россию легче легкого: «Более чем достаточно провести восемь дней в России, чтобы со знанием дела говорить о русских, — все в них так и бросается в глаза».

Рюльер, однако, провел в Санкт-Петербурге не дни, а месяцы, в отличие от Варшавы, где в 1762 году он остановился лишь на несколько часов, в продолжение которых он к тому же еще и «спал, по дороге в Россию, не раздеваясь, я на три часа свалился в Варшаве на постель». Остальная часть его путешествия через Польшу была примечательна отсутствием удовольствия по причине продолжающегося на Страстной неделе поста: «Путешествия ужасны в это время года». В 1768 году Шуазель заказал ему трактат о Польше, который должен был познакомить с этой страной будущего Людовика XVI; помимо довольно ограниченного знакомства с голодом и холодом, о подготовленности Рюльера к такому поручению свидетельствовали лишь его рукопись о России и его репутация врага Екатерины. Для Шуазеля как государственного деятеля, для Рюльера как историка Россия и Польша были тесно связаны и почти взаимозаменяемы. На теснейшую связь между ними указывало первое же предложение в его трактате: «Поляки и русские представляют собой подразделения той многочисленной народности, под общим наименованием «словенов, или славян», которая «распространилась двенадцать столетий назад по всему востоку Европы (*L'orient de l'Europe*) и на чьем языке говорят от гор Македонии и берегов Адриатического залива до островов Ледового моря». Так, с самого начала, данная история Польши была историей востока Европы; далее во введении предлагался очерк содержания данного трактата, от общего славянского происхождения русских и поляков до политического пути каждого из них к деспотизму и республиканскому устройству соответственно, и, наконец, к новейшей истории русских покушений на независимость Польши.

По мнению Рюльера, историю восточной Европы, приходилось преодолевать препятствия, происходящие из самой природы России и Польши: «Как проследить цепь событий через бурные колебания анархии? Как изобразить поразительное множество персонажей так, чтобы они не сливались друг с другом. Как проникнуть в те потайные покои, где, в тайрах сластолюбия и тиранических судеб многочисленных народов, дожили путешествия, предпринимаемые только личного знакомства почти со всеми дворами, государями и министрами, которых мне приходится изображать, личные связи с главами враждующих партий, получение самых достоверных воспоминаний и неисчислимые отзывы, посылаемые французскому правительству из всех стран, позволяют мне с уверенностью говорить о большинстве событий, интриг и характеров».

Рюльер считал, что в своем сочинении, разыскивая и прослеживая цепь событий, продираясь сквозь хитросплетения анархии, поднимая завесу и проникая в секреты, которые скрывали Восточную Европу от Европы Западной, он совершает интеллектуальный подвиг. В 1770 году, в разгар своих исследований, Рюльер не только близко общался с Вильегорским, но и пользовался покровительством Шуазеля, а значит, и доступом к архивам Министерства иностранных дел. Однако в том же году Шуазель попал в опалу, и Рюльер потерял свою должность; тем не менее у него к этому времени было достаточно материалов, чтобы в 1771 году закончить первый вариант рукописи. В 1774 году на престол взошел Людовик XVI, и Верженн, новый министр иностранных дел, посоветовал королю вернуть Рюльеру его должность, чтобы тот мог продолжить работу над историей Польши. Она должна была закончиться историческим объяснением развязки столь неожиданной, как расчленение этой республики. Рюльера, вновь работавшего на правительство, в 1776 году отправили с дипломатической миссией в Вену и Берлин, два города, служившие на протяжении всего столетия отправной точкой для направляющихся в Польшу.

Несмотря на свои заявления о предпринятых долгих путешествиях, Рюльер в 1776 году так и не поехал в Польшу. Убедительные доводы в пользу такого решения содержались в письме из Польши, куда по приглашению Вильегорского недавно прибыл Мабли. Быть может, Мабли чувствовал, что одного французского философа (то есть самого себя) будет там более чем достаточно; в любом случае, отговаривая Рюльера от поездки, он писал ему в Вену, чтобы предупредить «того, кто написал историю недавней революции в России, что русские здесь — полные хозяева». Если Рюльер все же решится приехать, ему следует принять чужое имя и быть готовым к аресту и высылке в Санкт-Петербург. Однако, по мнению Мабли, русские были не единственной причиной держаться в стороне от Польши. Проблема отчасти была в ней самой; благодаря взаимозаменяемости восточноевропейских стран, эта проблема была проблемой всего региона: Что за страна Польша! С таким же успехом я поехал бы в Татарию! Возмущение Мабли дорожными условиями в Польше было вполне традиционным и приближалось к негодованию мадам Жоффрен. «Чтобы вам не пришлось спать на земле, захватите с собой кровать, — предупреждал он Рюльера. Чтобы избежать смерти от голода и жажды, захватите с собой еду и даже воду, ибо свинство (*cochonnerie*) и лень поляков истребляют и зачатки промышленности».

Таковыми письмами обменивались между собой два самых горячих друга Польши во всей Франции. Рюльер, вне всякого сомнения, поверил этому описанию, поскольку в 1762 году ему уже приходилось голодать, галопом пересекая Польшу на Страстной неделе, во время своего ужасного путешествия. Отговаривая Рюльера от поездки, Мабли камня на камне не оста-

вил в своем описании этой страны; от продовольственных проблем он обратился к проблемам, подстерегающим там исследователя: «Я не знаю, поможет ли приезда сюда вам в ваших исследованиях: здесь царствуют страннейшие предрассудки и самое варварское невежество. Вы встретите людей, которые не знают ни положения своих собственных дел, ни положения дел в Европе».

Ничто не могло выразить более наглядно аксиомы французского отношения к Польше, чем убежденность, что в эту страну не стоит ехать, даже чтобы изучать ее, поскольку поляки в своем варварском невежестве не понимают ни себя самих, ни положения своих дел. Раз Польшу лучше всего изучать и объяснять на расстоянии, Рюльеру оставалось искать во Франции источник, который пролил бы свет на предмет его исследований; Мабли, впрочем, предложил переслать ему свои собственные впечатления и даже составить свое собственное описание — «если у меня найдется на это время». Рюльер не поехал в Польшу, но, возможно, заглядывал в Политическое положение Польши в 1776 году, написанное Мабли.

Рюльер доработал свою рукопись и к 1782 году уже читал отрывки из нее в парижских салонах, в том числе и у мадам Неккер; он был убежден, что этот его труд о Польше, подобно сочинению о России, не мог быть опубликован, поскольку затрагивает слишком многих частных лиц и государей, которые еще живы. Если в 1770-х годах, в начале работы над книгой, главным консультантом Рюльера был Вильегорский, то к концу десятилетия он работал в тесном сотрудничестве с Леонаром Тома, виртуозным стилистом и оратором, завсегдатаем салона мадам Неккер. Литературные вкусы Тома, без сомнения, помогли придать рукописи ее салонную привлекательность: В изображении города Варшавы во время сейма есть нечто живописное, приятно поражающее воображение. Решив не ехать в Польшу в 1776 году, Рюльер погрузился в Париже в работу над живописными эффектами, привлекательными для воображения, которое столь часто определяло просвещенческий образ Восточной Европы. Тома показалось скучным одно из описаний казаков, но другой пассаж удостоился высокой оценки: «Что за ужасное и глубокое впечатление производят картины украинской резни!»

Необходимость подыскать казакам, а также и татарам подходящую роль в этом сочинении хорошо вписывалась в общее намерение Рюльера написать историю востока Европы. Для Рюльера новейшая история Польши была неизбежно и историей России, а также и прочих земель: с другой стороны, те, кто, подобно Вольтеру, смотрел на Восточную Европу сквозь призму России, открывали и прочие, негласно связанные с ней страны. Интерес Рюльера к татарам восходил к его знакомству с «Общественным договором», предсказывавшим их господство над Россией, и в 1763 году он писал Руссо: «Правда, что татары — это ужасный народ, но стоит ли бояться их до такой степени, как вы?» В десятой книге «Польской анархии» Рюльер обращается к этому вопросу в связи с Русско-турецкой войной, с ходом которой теснейшим образом переплелась судьба Барской конфедерации. Работая в архивах французского правительства, он мог справляться с донесениями французских агентов в Константинополе и в Крыму, таких как барон де Тотт и Шарль де Пейсоннель. Даже польская история Казановы, подобно хронике состоящая из погодных записей, включала специальные главы о «Происхождении казаков, а также татар, турок, поляков и московитов».

В Варшаве Станислав Август произвел самое благоприятное впечатление на Казанову, которого, вероятно, особенно интересовал король, взшедший на престол через кровать Екатерины; он описан в мемуарах Казановы как красивый и с мужественной внешностью. Однако для Рюльера, как и для Руссо, он вовсе не был героем, и даже его мужественность подвергалась сомнению. Героями Рюльера были конфедераты, особенно Казимир Пулаский, которого он встречал во Франции после 1772 года. Через Бенджамина Франклина историк помет ему устроиться в американскую армию во время Войны за независимость, и в 1779 году поехал под Саванну. В 1783 году Рюльер показывал свою рукопись молодому Талейрану, который счел поразительным выбор Польши как объекта исследования, согласившись, что «вместе с недавно обретшей независимость Америкой она — единственная страна, достойная историка». Талейран, таким образом, понимал, что Польша была для философов Просвещения, для Рюльера, для Руссо, для физиократов, лишь поводом выразить свои идеологические воззрения. Но чувствовал, что Польская империя была недостаточно философской. «Я там и не встретил ни где народ, который и составляет это королевство, — возмущенно писал он Рюльеру. От одной страницы к другой ждешь, когда же, наконец, на смену историку придет философ». Пользовавшаяся успехом в салонах рукопись несла на себе, конечно, печать *ancien regime*, но, умирая в 1791 году, Рюльер работал над историей разворачивавшейся вокруг него «Французской революции».

После смерти Рюльера между его семьей и французским правительством началась продолжительная борьба за неопубликованную рукопись о Польше. Обе стороны заручились поддержкой тех, кто при жизни предыдущего поколения участвовал в связях эпохи Просвещения с Восточной Европой. Правительство было представлено Пьером Эннином, писавшим Вольтеру из Варшавы в 1761 году; родственники Рюльера советовались с Мармонтелем, который в 1766 году писал мадам Жоффрен из Варшавы. Революционный шторм захлестнул эту тяжбу, брат Рюльера погиб во время сентябрьской резни 1792 года, но в 1805 году, уже при Наполеоне, рукопись купил один парижский издатель. Ее отредактировали, вычистив из нее антирусскую направленность, а значит, и политический пафос, слово «варвар» было выпущено всюду, где оно относилось к русским. Таким образом, и в случае России, и в случае Польши выбор между двумя тесно переплетенными идеологическими альтернативами сводился лишь к редакторской правке, а различие между цивилизацией и варварством было подвержено произвольным изъятиям и исправлениям. Однако в 1806 году правительство неожиданно перехватило отредактированную и уже готовую к публикации рукопись, намереваясь отменить правку и вернуться к первоначальному тексту. Министром иностранных дел в это время был Талейран, читавший первоначальную рукопись еще в 1783 году и критиковавший ее за недостаточно республиканский дух. Теперь же Наполеон задумал воссоздать Польское государство, отчасти чтобы оказать давление на Россию, сражавшуюся в то время против французов в составе Третьей коалиции; в этой ситуации польские симпатии Рюльера казались вполне уместными. В 1807 году император создал Великое Герцогство Варшавское, а в Париже в четырех томах наконец-то вышла История польской анархии.

Интеллектуальная привязанность французов к Польше в кризисный период после 1766 года оказалась теперь переплетенной с французским имперским присутствием в Восточной Европе в эпоху Наполеона. Посмертную карьеру Рюльера, однако, ожидал еще один резкий поворот; стоило четвертому тому его книги выйти в свет в 1807 году, как Наполеон заключил с Россией Тильзитский мир (продолжавшийся до самого 1812 года, когда Великая армия вторглась в Российскую империю). Теперь царь Александр, внук Екатерины, протестовал против издания Рюльера во Франции, и в 1808 году национальный архив решил исследовать подлинность первоначальной рукописи. Директором архивов в это время был тот самый д'Отрив, восхищавшийся живописностью Болгарии в 1785-м на пути в Молдавию. В 1810 году национальная академия осудила Рюльера-историка за предвзятость; самым многословным среди его академических критиков был престарелый физиократ Дюпон, отправившийся в 1774 году в Варшаву и присвоивший себе высокую честь создания нации посредством народного

образования. Его слова вполне можно было применить к отношению к Польше целого поколения, включая и самого Дюпона: он сравнил сочинение Рюльера с одним из тех романов, которые столь некстати называют «историческими».

«РЕСПУБЛИКА ВОСТОКА»

За год до Французской революции маркиз де Сад, опасный сексуальный преступник, обладавший своеобразным литературным талантом, находился в заточении в Бастилии и работал над романом в письмах «Алина и Валькур». Один из его философических протагонистов сначала обосновал утверждение, что инцест есть установление человеческое и божественное, а затем непринужденно предложил заново разделить Европу, оставив только четыре республики под названиями Запад, Север, Восток и Юг. Продолжавшаяся на протяжении всего XVIII века концептуальная смена континентальной оси север—юг на ось запад—восток достигла равновесия в неустойчивом воображении маркиза де Сада, превратившего Восточную Европу в республику Востока: «Россия образует республику Востока; я желаю, чтобы она уступила туркам, которых я отправлю из Европы восвояси, все азиатские владения Санкт-Петербурга. ... В качестве возмещения я присоединю к ней Польшу, Татарину и все оставшиеся от турок владения в Европе».

Карта перекраивалась с небрежной самоуверенностью, и даже Россия подверглась разделу, чтобы установить четкую границу между Восточной Европой и Азией, между европейской республикой Востока и самим Востоком как таковым. Консолидация Восточной Европы в одно целое была затем представлена как возмещение России за понесенные ею потери. Подобные геополитические фантазии недалеко ушли от замыслов Вольтера, которые он взволнованно излагал в письмах к Екатерине, и пока де Сад занимался творчеством в Бастилии, эти фантазии обретали второе дыхание. Начиная с 1788 года Иосиф и Екатерина вновь вели войну с Османской империей. Армия Габсбургов опять осадила Белград, а русская армия вступила в Молдавию, Дипломаты работали над сложными схемами взаимных компенсаций, отрезая и передавая из рук в руки части Польши и Османской империи во имя жадной утопии стратегического равновесия. Этот международный кризис достиг своей наивысшей точки с территориальными разделами Польши в 1793 и 1795 годах.

Поначау казалось, что турецкая война Екатерины предоставила полякам шанс вернуть себе независимость; это они и попытались сделать на Четырехлетнем сейме 1788—1792 годов. Тем самым, когда в 1789 году разразилась Французская революция, в Польше была в разгаре своя, параллельная революция: обе они в 1791 году произвели конституции. В польской революции ведущую роль играл сам Станислав Август, которому помогали два итальянца, служившие связующим звеном между ним и философами Просвещения, оставшимися за границей. Сидионе Пьятоли, прибывший в Польшу из Флоренции как частный учитель, в конце концов участвовал в написании польской конституции. Филиппе Мацей, работавший в Европе на Патрика Генри и Томаса Джефферсона во время американской Войны за независимость, теперь представлял Станислава Августа в революционном Париже, состоя в дружеских отношениях с Лафайетом. В 1790 году, когда Станислав Август пожертвовал свои драгоценности на дело независимости, Мармонтель из Франции приветствовал его патриотизм и послал новое издание Велизария, первое издание которого за двадцать лет до того было посвящено Екатерине. Польский король ответил, что похвала из Парижа напомнила ему о словах, сказанных Александром Македонским: «О, афиняне, что только не сделаешь, чтобы заслужить вашу похвалу!» Он подчеркнул, что не собирается нескромно сравнить себя с Александром, а лишь подражает Париж Афинам древности. В этой формуле вновь подтверждается иерархия европейских наций, обидевшаяся в силу разницы волеи Франция и Польша были заняты каждая своей революцией.

Французские революционеры, со своей стороны, приветствовали польскую конституцию 3 мая 1791 года с умеренным энтузиазмом и неуверенной снисходительностью. Самые преведиченные восхваления польской конституции во всей Западной Европе раздавались из уст Эдмунда Бёрка, красноречившего из всех идеологических противников Французской революции. Он одобрял бескровность польской революции, подчеркивая тем самым, как погрисен он был революцией французской. Изумляясь, что поляки, не имеющие искусств, промышленности, торговли или свободы, неожиданно произвели счастливое чудо мирной революции, он явно смотрел на них глазами Западной Европы. Тем временем французские революционеры поставили польских революционеров на место, особо подчеркивая их отсталость. Камилл Демулен в 1791 году допускал, что, принимая во внимание точку, откуда польский народ начал свой путь, видно, что, если говорить относительно, они сделали столь же большой рывок к свободе, как и мы; другой парижский революционер с удовольствием отмечал, что пример Франции повторяют на окраине Европы. В обращении к французам оговорка об относительности польской революции принималась как данность: «Польша только что совершила революцию, без сомнения, очень достойную для этой страны, но, господа, желали бы вы иметь такую конституцию?» Французские революционеры могли обратиться и прямо к полякам, в любимой риторической манере эпохи Просвещения, предписывая им, например, «совершенствовать свою революцию, предоставив свободу крестьянам». Подкупленный русскими Жан-Клод-Ипполит Мейе де ла Туш утверждал, что «Франция и Польша не имеют между собой ничего общего». Робеспьер Неподкупный, напротив, исключил всякие иерархические сопоставления между революциями и выдвинул нелепое утверждение, что французский народ, как кажется, обошел остальное человечество на две тысячи лет.

В 1791 году, когда была принята польская конституция, общественное мнение в Англии было возбуждено Русско-турецкой войной и русскими намерениями в Восточной Европе. Уильям Питт подготовил ультиматум Екатерине, требуя мира и сохранения статус-кво в Восточной Европе, в противном случае угрожая послать британский флот на Балтику и в Черное море. Одна лондонская газета беспокоилась, что Россия шаг за шагом проглотит все соседние государства, но русское посольство в Лондоне в ответ заказало несколько памфлетов, в частности Серьезное исследование мотивов и последствий настоящего вооружения против России, написанное по-французски, а затем переведенное на английский Джоном Парадайзом. Питт отложил свой ультиматум, и Екатерина завершила войну с турками без постороннего вмешательства. Затем в 1792 году она вторглась в Польшу, чтобы уничтожить конституцию, и произвела в 1793 году второй раздел. Вольтер к этому времени уже умер и не мог оценить ее достижения, как он оценил в своей переписке с Екатериной первый раздел; Гримм, однако, был все еще жив (хотя ему и исполнилось семьдесят) и написал ей в духе столь любимого его непристойного подтрунивания. Он счел уместным описать раздел 1793 года следующей метафорой: «Польша была маленькой шляшечкой (*petite egrillarde*), которой надо было укоротить юбки, затянуть корсет, даже подстричь ногти». В том же самом году Эдмунда Бёрка, с энтузиазмом поддержавший конституцию 1791 года, смирился с произошедшим недавно разделом со следующими словами:

Что касается нас, то Польшу на самом деле можно считать страной, расположенной на Луне. В том же 1793 году Кондорсе более реалистично описал происходящие географические перемещения, сочинив стихотворение о «Поляке, сосланном в Сибирь».

В 1795 году Польша была окончательно расчленена и перестала существовать как государство. Тем не менее, хотя все державы-участницы раздела и договорились, что само название Польши должно отныне и навсегда подвергнуться забвению, поэтическое перо Томаса Кэмпбелла ухватилось за эту тему, нарушая установленное табу: «Там, где в скифских горах бродят варварские орды, Истина, Милосердие, Свобода еще не нашли себе места. О, кровавейшая картина в книге Времени, Сарматия пала, неоплаканная, без вины».

Век Просвещения открыл Польшу (вместе с остальной Восточной Европой), а теперь эстафету готовилась принять эпоха романтизма, целиком перенимая эту изощренную конструкцию, со всеми ее интригующими намеками на «древнюю Сарматию», «варварскую Скифию» и даже Луну. Руссо призывал поляков сохранить Польшу в своих сердцах, но его собственные «Соображения», а также труды других авторов его поколения, несмотря на их увлечение Польшей, помогли вписать ее имя и в интеллектуальную программу Просвещения.

Французская революция нанесла удар отношениям Екатерины с Просвещением. Она с открытой враждебностью относилась к революции, считая ее международной идеологической угрозой, так что в 1791 году в Санкт-Петербурге даже запретили издание Вольтера. Вольней, один из философов Просвещения, писавший об оттоманском Востоке, возвратил ей почетную медаль, некогда посланную ему из России; Гримм, впрочем, все еще был к ее услугам и от имени императрицы заверил Вольнея, что «она уже забыла и ваше имя, и вашу книгу». Теперь в Санкт-Петербург толпами прибывали не просвещенные философы, а эмигранты-роялисты; через двадцать лет после визита Дидро русская столица принимала брата Людовика XVI, графа Артуа, ставшего после реставрации Карлом X. Существовал даже план основать отдельную эмигрантскую колонию на Азовском море — двадцать лет спустя после того, как Вольтер и Екатерина мечтали поселить на том же самом месте швейцарских часовщиков.

В 1795 году в Санкт-Петербург прибыла Элизабет Виже-Лебрен, любимая портретистка Марии-Антуанетты. В своих мемуарах она оперирует традиционными формулами XVIII века, упоминая «внутреннюю часть России, куда еще не проникла наша современная цивилизация». На самом деле она почти не видела этой внутренней части, и «даже короткая поездка за пределы столицы в сопровождении русского слуги напомнила ей о Робинзоне Крузо и Пятнице». В Санкт-Петербурге она рисовала по памяти Марию-Антуанетту, но успела лишь начать портрет Екатерины, как в 1796 году царица скончалась. У нее была еще возможность написать портрет Станислава Августа, который лишился своего государства и прибыл в Санкт-Петербург в 1797 году, за год до своей смерти. Мадам Виже-Лебрен вспоминала, как впервые услышала о нем в Париже, за много лет до того — от многих людей, встречавших его у мадам Жоффрен, а теперь она сама пользовалась его благосклонностью: Ничего не было трогательнее, чем снова и снова слушать, как счастлив бы он был, если бы я приехала в Варшаву, пока он еще царствовал. Она написала два больших поясных портрета, один в костюме Генриха VI, другой в бархатном сюртуке. Но до самого Станислава Августа, по он, возможно, и рад был познакомиться с мадам Виже-Лебрен, но самой важной его встречей в Санкт-Петербурге было паломничество в Эрмитаж, где разместили библиотеку Вольтера. Екатерина купила ее после смерти философа в 1778 году и перевезла книги в Санкт-Петербург где они стоят и сейчас.

В 1801 году, первом году нового века, в Англии Уильям Коббет начал в газете The Register (Дневной листок) серию открытых писем к министру иностранных дел лорду Хоксбери, будущему лорду Ливерпулю. В своих письмах Коббет осуждал проходившие в то время в Амьене переговоры о заключении временного мира между Англией и Наполеоном. Именно закрытие континента для Англии и господство там Бонапарта сделали Коббетта особенно чувствительным к проблеме очертаний Европы. Он вглядывался в отдаленные восточные окраины, пытаясь найти страны, все еще неподвластные Наполеону. Там, однако, он и подавно отказывался видеть источник международной поддержки для Англии. «Какие политические отношения могут у нас быть со странами расположенными за Неманом и Борисфеном? Мы поддерживаем сообщение с этими странами через Ригу, подобно ТОМУ, как с Китаем мы поддерживаем сообщения через Кантон. Не правда ли тогда что добрая половина Европы покорена Францией, а оставшаяся половина лежит простертой у ее ног».

В этом исключительном абзаце Коббет подвел итог конструированию Восточной Европы в XVIII веке и предвосхитил последствия такого подхода, наступившие в XIX и XX столетиях. Представление о крае, лежащем за Неманом и Днепром, вполне соответствует видению Берка, словно в телескоп глядевшего на Польшу, которая «может считаться страной, расположенной на Луне». Неизбежный и решительный ответ на вопрос о том, какие политические отношения могут у нас быть, — вторжение в Россию, начатое Наполеоном в 1812 году.

Сравнивая страны, лежащие за Неманом и Днепром, с Китаем, Коббет основывался на том, что век Просвещения упорно считал Восточную Европу Востоком Европы Точкой доступа туда для него, как и для Дидро по дороге в Санкт-Петербург за двадцать лет до того была Рига. В XX веке Рига, к тому времени столица Латвии, превратилась в передовой пост, откуда после революции американские дипломаты, включая молодого Джорджа Кеннана, докладывали о событиях в Советской России. «Старый Петербург был, конечно, мертв или по большей части мертв — и зачастую недоступен для путешественников с Запада. Но Рига все еще жива. Это один из тех случаев, когда копия пережита оригинал. Жизнь в Риге таким образом означала во многих отношениях жизнь в царской России. Внизу, в промокшей от дождя гавани слышались крики маневровых паровозов и стук побитых ширококолейных товарных вагонов завершавших свой месячный путь к докам бог знает откуда из пространственных внутренних частей России».

Кеннан и американские дипломаты сознательно поддерживали представление о преемственности между царской Россией и Советским Союзом, но одновременно заметна и наивная преемственность взглядов между воспоминаниями Элизабет Виле-Лебрен, где «во внутренние части России еще не проникла наша современная цивилизация», и мемуарами Джорджа Кеннана, обозначившего ту же самую территорию бог знает откуда.

Коббетт говорил о принципиальном различии между доброй половиной Европы и другой половиной, по умолчанию определявшейся как страны, расположенные за Неманом и Борисфеном. В заключении к этому письму он проводил линию через весь континент, еще четче формулируя это разделение: «Европа, милостивый государь, закрыта для нас, от Риги до Триеста мы можем проникнуть в нее лишь через Францию». И до и после 1801 года, когда Коббетт написал свое письмо, линия от Риги до Триеста обозначала историческое подразделение Европы на две части. В 1772 году Вольтер провозгласил создание новой вселенной от Архангельска до Борисфена, а в 1773-м приветствовал намерение Екатерины упорядочить хаос от Гданьска до устьев Дуная. Очерченная Вольтером территория от Балтики до Черного моря более или менее совпадала с описанным у Коббетта пространством от Балтики до Адриатики. При этом до XVIII века ни то ни другое не воспринималось как «осмысленная и логичная комбинация стран и народов».

Лишь позднее Рюльер и Сегюр смогли писать о востоке Европы или европейском Востоке а де Сад — изобретать «европейскую республику Востока». Так свершалось изобретение Восточной Европы. В XX веке Джордж Кеннан делал обобщения о неясном интеллекте, который он обнаружил в странах, расположенных к востоку от Вислы и Дуная; именно там, от Гданьска до Дуная, Вольтер помещал свой «хаос». В 1946 году Черчилль описал железный занавес, пролеглий от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, возвещая тем самым новую эпоху в международных отношениях. Однако предложенная им карта была не нова, поскольку проведенная Черчиллем линия предложена Вольтером (с начальным пунктом на Балтике) и Коббеттом (с конечной точкой на Адриатике). Железный занавес опустился в XX веке как раз там, где эпоха Просвещения провела границу между Западной Европой и Восточной, натянув занавес культурный, сотканный не из железа, а из более тонких материй.

© Век Просвещения 2006
А. Вильф. Изобретая Восточную Европу